

ОПАСНОСТИ И ЗАДАНИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Все то, что я высказал в оправдание и обоснование национализма, заставляет меня договорить и признать, что есть больные и извращенные формы национального чувства и национальной политики. Эти извращенные формы могут быть сведены к двум главным типам: в первом случае национальное чувство прилепляется к неглавному в жизни и культуре своего народа; во втором случае оно превращает утверждение своей культуры в отрицание чужой. Сочетание и сплетение этих ошибок может порождать самые различные виды больного национализма.

Первая ошибка состоит в том, что чувство и воля националиста прикрепляются не к духу и не к духовной культуре его народа, а к внешним проявлениям народной жизни — к хозяйству, к политической мощи, к размерам государственной территории и к завоевательным успехам своего народа. Главное — жизнь духа — не ценится и не бережется, оставаясь совсем в пренебрежении или являясь средством для неглавного, т. е. превращаясь в орудие хозяйства, политики или завоеваний. Согласно этому есть государства, националисты которых удовлетворяются успехами своего народного хозяйства (экономизм), или мощью и блеском своей государственной организации (этатизм), или же завоеваниями своей армии (империализм). Тогда национализм отрывается от главного — от смысла и цели народной жизни — и становится чисто инстинктивным настроением, подвергаясь всем опасностям обнаженного инстинкта: жадности, безмерной гордыне, ожесточению и свирепости. Он опьяняется всеми земными соблазнами и может извратиться до конца.

От этой ошибки русский народ был огражден, во-первых, своим прирожденным религиозным смыслом; во-вторых, Православием, которое сообщило нам, по слову Пушкина, «особенный национальный характер» и внушило нам идею «Святой Руси». «Святая Русь» не есть «нравственно праведная» или «совершенная в своей добродетели». Россия — это есть правоверная Россия, признающая свою веру главным делом и отличительной особенностью своего земного естества. В течение веков Православие считалось отличительной чертой русскости — в борьбе с татарами, латинянами и другими иноверцами; в течение веков русский народ осмысливал свое бытие не хозяйством, не государством и не войнами, а верою и ее содержанием; и русские войны велись в ограждение нашей духовной и вероисповедной самобытности и свободы. Так было издревле —

до конца XIX века включительно. Поэтому русское национальное самосознание не впадало в соблазны экономизма, этатизма и империализма, и русскому народу никогда не казалось, что главное дело его — это успех его хозяйства, его государственной власти и его оружия.

Вторая ошибка состоит в том, что чувство и воля националиста, вместо того чтобы идти в глубину своего духовного достояния, уходят в отвращение и презрение ко всему иноземному. Суждение «мое национальное бытие оправдано перед лицом Божиим» превращается, вопреки всем законам жизни и логики, в нелепое утверждение: «национальное бытие других народов не имеет перед моим лицом никаких оправданий»... Так как если бы одобрение одного цветка давало основание осуждать все остальные, или — любовь к своей матери заставляла ненавидеть и презирать всех других матерей. Эта ошибка имеет, впрочем, совсем не логическую природу, а психологическую и духовную: тут и наивная исключительность примитивной натуры, и этнически врожденное самодовольство, и жадность, и похоть власти, и узость провинциального горизонта, и отсутствие юмора, и, конечно, неодолимость национального инстинкта. Народы с таким национализмом очень легко впадают в манию величия и в своеобразное завоевательное буйство, как бы ни называть его — шовинизмом, империализмом или как-нибудь иначе.

От этой ошибки русский народ был огражден, во-первых, присущею ему простодушною скромностью и природным юмором; во-вторых, многоплеменным составом России и, в-третьих, делом Петра Великого, научившего нас строгому суду над собою и привившего нам готовность учиться у других народов.

Так, русскому народу несвойственно закрывать себе глаза на свои несовершенства, слабости и пороки; напротив, его скорее тянет к мнительно-покаянному преувеличению своих грехов. А природный юмор его никогда не позволял ему возомнить себя первым и водителем народом мира. В течение всей его истории он вынужден был обходиться с другими племенами, говорившими на непонятных ему языках, отстаивавшими свою веру и свой быт, а иногда наносившими ему тяжелые поражения. Наша история вела нас от варягов и греков к половцам и татарам; от хазар и волжских болгар через финские племена к шведам, немцам, литовцам и полякам. Татары, наложившие на нас свое долгое иго, показались нам «нехристями» и «погаными» (запах лошадиного пота, поглощаемого сырого мяса и кочевнической грязи, исходивший от татар, вызывал у славян сущее отвращение), но они почтили нашу Церковь, и вражда наша к ним не

превратилась в презрение. Воевавшие с нами иноверцы, немые для нас по языку («немцы») и неприемлемые Церковью («еретики»), побеждались нами отнюдь не легко и, нанося нам поражения, заставляли нас задуматься над их преимуществами. Русский национализм проходил — и во внутреннем замирении своей страны, и во внешних войнах — суровую школу уважения к врагам, и Петр Великий, умевший «поднимать заздравный кубок» «за учителей своих», проявлял в этом исконную русскую черту — уважение к врагу и смирение в победе.

Правда, в допетровском национализме имелись черты, которые могли привести к развитию национальной гордыни и повредить России в целом. Именно в русском народе сложилось и крепло иррациональное самочувствие, согласно которому русский народ, наставляемый святой, соборной и апостольской Церковью и водимый своими благоверными царями, хранит единственную правую веру, определяя ею свое сознание и свой быт: это есть некое национальное стояние в правде, от которого невозможно ни отступить, ни что-либо уступить, так что перенимать у других нам ничего нельзя, смешиваться с другими грешно и изменяться нам не в чем. Ни у басурман, ни у еретиков нам не следует учиться, ибо от ложной веры может произойти только ложная наука и ложное умение.

Это воззрение к XVII веку формулировалось так: «Богомерзок пред Богом всякий, кто любит геометрию, а се душевные грехи — учиться астрономии и еллинским книгам»... И еще: «Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех, учуся книгам благодатного закона»...

Русское правительственное самознание давно уже не соответствовало этому народному самочувствию. Со второй половины XV века, если не ранее, в особенности же после того, как обрушились от самодельной неумелой стройки стены почти довершенного Успенского собора в Москве (1474), с легкой руки Иоанна Третьего русское правительство приглашает из-за границы архитекторов, врачей и всяких технических искусников: «еретическая наука» уже гостит и служит, но еще не насаждается и не перенимается. Борис Годунов мечтал основать в Москве не то академию, не то университет; Лжедмитрий думал водворить здесь иезуитскую высшую школу. Необходимость учиться светской «еретической» науке становилась все более очевидной, но консерватизм и провинциализм церковно-национального самочувствия и самомнения санкционировали неподвижность быта и сознания. Духовная инерция народа стала опасною...

* * *

Петру Великому пришлось вломиться в это самочувствие и заставить русских людей учиться необходимому. Он понял, что народ, отставший в цивилизации, в технике и знаниях, будет завоеван и поработен и не отстоит себя и свою правую веру. Он понял, что необходимо отличить главное и священное от неглавного, несвященного, земного — от техники, хозяйства и внешнего быта; что надо вернуть земное земле; что вера Христова не узаконивает отсталых форм хозяйства, быта и государственности. Он постиг необходимость дать русскому сознанию свободу светского, исследовательского взирания на мир, с тем чтобы сила русской веры установила в дальнейшем новый синтез между православным христианством, с одной стороны, и светской цивилизацией и культурой, с другой стороны. Петр Великий понял, что русский народ преувеличил компетенцию своего исторически сложившегося, но еще не раскрывшего всю свою силу религиозного акта и что он недооценил творческую силу христианства: Православие не может санкционировать такой уклад сознания, такой строй и быт, которые погубят народную самостоятельность и предадут врагам и веру, и Церковь. Он извлек урок из татарского ига и из войн с немцами, шведами и поляками: Запад бил нас нашей отсталостью, а мы считали, что наша отсталость есть нечто правоверное, православное и священно-обязательное. Он был уверен, что Православие не может и не должно делать себе догмат из необразованности и из форм внешнего быта, что сильная и живая вера проработает и осмыслит и облагородит новые формы сознания, быта и хозяйства. Христианство не может и не должно быть источником обскурантизма и национальной слабости.

И вот небесное и земное разделились в русском самочувствии. Вместе с тем национальное отделилось от вероисповедно-церковного. Русское самочувствие проснулось, и началась эпоха русского национального самосознания, незаконченная и донныне.

Старообрядцы не приняли этого раздела и стали верными хранителями русского православно-национального самочувствия во всей его неприкосновенности, наивности и притязательности. Это было трогательно и даже полезно; не потому, что старообрядчество в церковном отношении — право, а потому, что оно веками, в душевной целостности и с нравственной ревностью блюло верность первоначальной форме русского религиозного и русско-национального самочувствия. Верность бывает трогательна и полезна даже и в обрядовых мелочах, ибо в них воплощаются глубина и искренность религиозного чувства.

А между тем России, русскому духу и русскому национализму предстоял новый путь. Надо было различить в культурном творчестве церковное и религиозное, и далее — церковное и национальное; открыть себе доступ к светской цивилизации и светской культуре и внести религиозно-православный дух, иоанновский дух любви и свободы, в свое светское национальное самосознание, в свою новую национально-светскую культуру и национально-светскую цивилизацию. Эта задача не разрешена нами еще и поныне, и разрешением ее будет занята грядущая Россия.

1. Церковь и религиозность не одно и то же, ибо Церковь можно уподобить солнцу, а религиозность — всюду рассеиваемым солнечным лучам. Церковь есть зиждительница, хранительница, живое средоточие религии и веры. Но Церковь не есть «все во всем», она не поглощает нации, государства, науки, искусства, хозяйства, семьи и быта, не может поглотить их и не должна пытаться сделать это. Церковь не есть начало тоталитарное и всевластное. Православию чужд «теоретический» (т. е., строго говоря, эклизиастический) идеал; Православная Церковь молится, учит, святит, благодарствует, вдохновляет, исповедует и, если надо, обличает, — но она не властвует, не регламентирует жизни, не карает светскими наказаниями и не берет на себя ответственности за светские дела, грехи, ошибки и неудачи (в политике, в хозяйстве, в науке и во всей культуре народа). Ее авторитет есть авторитет откровения и любви; он свободен и основан на качестве ее веры, ее молитвы, ее учения и ее дел. Церковь ведет духом, молитвой и качеством, но не всепоглощением, как это пытались осуществить Савонаролла во Франции, иезуиты в Парагвае и Кальвин в Женеве. Она излучает живую религиозность, которая должна свободно проникать в жизнь и во все жизненные дела народа. Религиозному духу — везде место, где живет и творит человек, во всяком светском деле: в искусстве и науке, в государстве и торговле, в семье и на пашне. Он очищает и осмысливает все чувства человека, и в том числе и национальное чувство; а национальное чувство, религиозно облагороженное и осмысленное, незримо и ненарочито проникает все человеческое творчество.

Так, Церковь не может и не должна вооружать армию, организовывать полицию, разведку и дипломатию, строить государственный бюджет, руководить академическими исследованиями, заведовать концертами и театрами и т. д.; но излучаемый ею религиозный дух может и должен облагораживать и очищать всю эту светскую деятельность людей. Живая религиозность должна светить и греть там, куда Церковь открыто не вмешивается или откуда она прямо устраняет себя.

2. Церковь, как единение единоверующих, сверхнациональна, ибо объемлет и единоверующих другой нации; но в пределах единой нации «поместная» церковная организация получает неизбежно национальные черты. К Православной Церкви принадлежат не только русские, но и румыны, и греки, и сербы, и болгары; и тем не менее русское Православие (как Церковь, и как обряд, и как дух) имеет своеобразные черты русскости. Итак, церковное и национальное не одно и то же.

Нация, как единение людей с единым национальным актом и культурой, не определяется принадлежностью к единой Церкви, но включает в себя людей разной веры, и разных исповеданий, и разных Церквей. И тем не менее русский национальный акт и дух был взращен в лоне Православия и исторически определился его духом, на что и указывал Пушкин. К этому русскому национальному акту более или менее приобщились почти все народы России самых различных вер и исповеданий:

*И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.*

Александр Пушкин

И все они, сами того не зная, таинственно приобщились к дарам русского Православия, сокровенно заложенным в русском национальном акте. Русский национализм распространил скрытые в нем лучи русского Православия по всей России. Но из этого уже ясно, что национальное и церковное — не одно и то же.

Это отличие — церковного от религиозного и церковного от национального — Россия осознавала на протяжении двух веков после Петра. За эти два века Россия вынашивала свой светский национализм, зачатый в Православной Церкви и проникнутый христианским иоанновским духом любви, созерцания и свободы; она вынашивала его и в то же время вносила его во все области светской культуры: в зародившуюся с тех пор русскую светскую науку и литературу; в возникшее и быстро созревшее до мировой значительности светское русское искусство; в новый светский уклад права, правосознания, правопорядка и государственности; в новый уклад русской светской жизни и нравственности; в новый уклад русского частного и общественного хозяйства.

Православная Церковь отнюдь не была чужда всему этому. Она оставалась как бы матерью выросших детей, ушедших на свободу жизненно-религиозного дела и труда, но не ушедших духом из ее света и Духа. Она оставалась матерью-хранительницей молитвы и любви, советницей и обличительницей, лоном очищения, покаяния и умудрения, — вечной

матерью, приемлющей новорожденного и молящейся за почившего. Это ее дух — освободил крестьян, создал суд скорый, правый и милостливый, создал русское земство и русскую школу; это ее дух — взрастил и укрепил русскую национальную совесть и жертвенность; это ее дух — повинил и укрепил русскую мечту о совершенстве; это ее дух — внес во всю русскую культуру силу сердечного созерцания, вдохновил русскую поэзию, живопись, музыку и архитектуру и создал пироговскую традицию в русской медицине... Но всего не исчислишь.

И тем не менее, то, что создавалось в России в XVIII и XIX веках, — было именно светскою национальною культурою. России было дано великое задание — выработать русско-национальный творческий акт, верный историческим корням славянства и религиозному духу русского Православия, — «имперский» акт такой глубины, ширины и гибкости, чтобы все народы России могли найти в нем свое родовое лоно, свое оплодотворение и водительное научение; создать из этого акта новую, русско-национальную, светски свободную культуру (знания, искусства, нравственности, семьи, права, государства и хозяйства) — все это в духе восточного, иоанновского христианства (любви, созерцания и свободы); и наконец, узреть и выговорить русскую национальную идею, ведущую Россию через пространства истории.

Это задание — долгое и претрудное, разрешимое только в веках — вдохновением и молитвою, самовоспитанием и неотступным трудом. За два века русский народ только приступил к его разрешению, и то, что им совершено, свидетельствует не только о величии этого задания и не только о чрезвычайной, исторически, этнически и пространственно обусловленной сложности его, но и о тех силах и дарах, которые даны ему для этого от Провидения. Это дело было начато с чрезвычайным успехом, прервано политической смутой и коммунистической революцией и осталось ныне незавершенным. Чтобы завершить это дело, понадобятся еще века свободного творческого расцвета, и нет сомнения, что Россия возобновит его после окончания революции.

И вот русский национализм есть не что иное, как любовь к этому исторически сложившемуся духовному облику и акту русского народа; он есть вера в это наше призвание и в данные нам силы; он есть воля к нашему расцвету; он есть созерцание нашей истории; нашего исторического задания и наших путей, ведущих к этой цели; он есть бодрая и неутомимая работа, посвященная этому самобытному величию грядущей России. Он утверждает свое и творит новое, но отнюдь не отрицает и не презирает чужое. И Дух его

есть дух иоанновского христианства, христианства любви, созерцания и свободы, а не дух ненависти, зависти и завоевания.

Так определяется идея русского национализма.